

Можно с гордостью за нашу всемирную отзывчивость отметить, что даже в годы жестокой борьбы

² Писатель, публицист, литературный критик, кандидат физико-математических наук. Заместитель главного редактора журнала «Нева» (Санкт-Петербург). Автор литературно-публицистических произведений и книг прозы, в т. ч.: «Провинциал», «Весы для добра», «Исповедь еврея», «Горбатые атланты, или Новый Дон Кишот», «Роман с простатитом», «Любовь-убийца», «Мудрецы и поэты», «Нам целый мир чужбина», «Чума», «В долине блаженных», «Любовь к отеческим гробам», «Интернационал дураков», «Дрейфующие кумиры», «Броня из облака», «Колочий треугольник» и других, а также 60 научных работ по математике. Лауреат Набоковской премии, премии им. Гоголя, премии Правительства Санкт-Петербурга и др.

А. М. Мелихов²

КАВКАЗСКИЕ ПЛЕННИКИ ЭКЗОТИКИ

за Кавказ наши литературные пращурсы золотого века писали о горах преимущественно в выпрессованном тоне. В романтической поэме «Кавказский пленник» молодого Пушкина «черкесы» лишены не просто каких-либо снижающих черт, но даже их хозяйственные заботы представлены только кратким и праздничным упоминанием: «С полей народ идет в аул, / Сверкая светлыми косами». Зато набегам, которых пленник видеть не мог, посвящены самые звонкие строфы: «Обманы хитрых узденей, / Удары шашек их жестоких, / И меткость неизбежных стрел, / И пепел разоренных сел, / И ласки пленниц чернооких», — цитировать можно

долго, но всюду поэт воспеваает жестокие подвиги горцев с неприкрытым восхищением.

В знаменитом «Аммалат-беке» Марлинского «татары» постоянно произносят примерно такие монологи: «Ты уж не будешь носить меня как пух по ветру, — говорил он, — ни в пыльном облаке на скачке, слыша за собой досадные клики соперников и восклицания народа, ни в пламя битвы; уже не вынесешь еще однажды из-под чугунного дождя русских пушек. С тобой добыл я славу наездника; зачем же мне переживать и ее и тебя?!»

«Полубуйся на смелость наших женщин, пули, как мухи, жужжат, а им и горя мало! Дстойные матери и жены богатырей!.. Конечно, в великий стыд вменится тому, кто ранит женщину; да ведь за пулю нельзя поручиться. Острый глаз направляет ее, но слепая судьба несет в цель».

Но если мы пожелаем заглянуть в их метафизический мир, то найдем лишь такую настораживающую цитату: «Прибытие русского отряда не могло быть новостью для дагестанцев в 1819 году; но оно и до сих пор не делает им удовольствия. *Изуверство* (курсив мой. — А. М.) заставляет их смотреть на русских как на вечных врагов, но врагов сильных, умных, и потому вредить им решаются они не иначе как втайне, скрывая неприязнь под личиною доброхотства».

Даже в реалистическом, казалось бы, «Герое нашего времени» горцы как будто свободны не только от серьезных метафизических размышлений, но и от нужд «низкой жизни» — разве что Казбич продает баранов, но и то не желает торговаться: сказал — отрезал. А если Азамат и совершает низкий поступок, то все-таки не корысти ради, а из-за страстной влюбленности в лихого скакуна.

Разумеется, такая неотступная романтизация должна была рано или поздно породить отрезвляющую реакцию. Я не стану говорить о саркастическом Щедрина, давшем двум проходивцам кавказского происхождения громкие имена Амалат и Азамат (следуя Гоголю, наградившему простецких немецких ремесленников именами Шиллера и Гофмана), — сатирик есть сатирик, — «креативнее» взглянуть в бесспорно гениальные творения великого реалиста Льва Николаевича Толстого.

Мечты Оленина, отправляющегося на Кавказ, явно порождены романтической кавказской поэзией и прозой: «Все мечты о будущем соединились с образами Амалат-беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. ... То с необычайною храбростию и удивляющею всех силою он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость». (Последнее особенно интересно: романтический юноша мечтает сражаться на стороне врага; во время войны с Францией при всей франкофилии тогдашнего дворянства подобные мечты были невозможны; юные лицеисты смотрели вслед уходящей рати, завидуя тому, кто умирать шел мимо них.) Но когда он наконец видит настоящих горцев, гордых, бесстрашных, их душа для него остается совершенно закрытой.

Что неудивительно — ведь он их видит лишь издали. Зато толстовский «кавказский пленник» видит

их очень близко. Толстой дал своему шедевру название в откровенной полемике с Пушкиным. В первом же столкновении с горцами, которых автор наделяет не экзотическим именем черкесов, а куда более обыденным для русского уха именем «татары», повествователь упоминает об их совсем не поэтических свойствах: «Хотел он подняться, а уж на нем два татарина вонючие сидят». И везут его не на «летучем» аркане, как у Пушкина: «Стремится конь во весь опор, / Исполнен гибельной отваги; / Все путь ему: болото, бор, / Кусты, утесы и овраги; / Кровавый след за ним бежит, / В пустыне топот раздается; / Седой поток пред ним шумит — / Он в глубь кипящую несется; / И путник, брошенный ко дну, / Глотает мутную волну, / Изнемогая, смерти просит / И зрит ее перед собой... / Но мощный конь его стрелой / На берег пенный выносит». Жилина везут без всяких театральных эффектов: «Сидит Жилин за татаринном, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синееется».

И в сарае бросают его даже не на кошму, а на обыкновенный навоз. И наблюдает он вокруг себя самую что ни на есть будничную жизнь. И даже в набегах не заметно ничего героического: «Бывало, приезжают они — гонят с собою скотину и приезжают веселые. А на этот раз ничего не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего».

Жилин несколько не романтизирует горцев, но при этом не испытывает к ним и враждебных чувств — у них свой интерес, а у него свой, вот и все.

Но у него проходит стороной и старик с белым «полотенцем», обмотанным вокруг папахи, когда-то убивший сына-предателя, своего рода татарский Тарас Бульба. Внешний облик его впечатляет: нос крючком, как у ястреба, вместо зубов два клыка, но во имя чего он совершил сыноубийство, Жилина несколько не интересует.

Вероятно, романтическое отношение к горцам можно назвать дворянским, а обыденное — народным, и Толстой стремился выразить народное отношение к Кавказу.

Не только в мечтах, но и в реальности сражаясь с горцами, русское дворянство восхищалось ими и даже подражало в одежде, верховой езде и т. п. Казаки же, тоже подражая горцам в боевых повадках, не испытывают к ним ни ненависти, ни восхищения: Лукашка, убивший абрека, только досадует на ускользнувших его товарищей так же, как на упущенного на охоте кабана. Правда, над телом убитого его посещают и более сложные чувства: «Тоже человек был! — проговорил он, видимо, любясь мертвецом». И тут же досадует, что ему не подходят портки убитого: «Мне не налезут: поджарый черт был».

Столь простое отношение к смерти противника отнюдь не мешает казакам щеголять знанием его языка, Лукашка, даже смертельно раненный, ругается «по-татарски»: «*Ана сени!*» — в отличие от оленинского лакея Ванюши, вставляющего французские слова: «*ла филь!*», «*ла фам!*». Но какая сказка, какая мечта движет горцами, никто и не думает интересоваться.

Но что взять с бесхитростных сынов природы — даже в гениальном «Хаджи-Мурате» всего лишь намечена симметрия Шамиля и Николая, а на сверхполитические, метафизические цели встречаются только намеки: Хаджи-Мурат «стал думать», прежде чем принять газават, но как и о чем он думает — об этом нет ни слова. Это у Толстого, посвящающего многие страницы духовным поискам русских персонажей. Хаджи-Мурат «стал на молитву», и дело с концом, и его изумительное мужество предстает почти что жизненной репейника. Имам Шамиль молится в силу общественного положения религиозного руководителя, но и для него самого это «так же необходимо, как ежедневная пища».

В итоге даже поклонники кавказской доблести не пошли дальше юного Лермонтова: «Им Бог — свобода, их закон — война». Однако свобода не может быть Богом: Бог указывает человеку высшие цели, а свобода лишь развязывает руки. Во имя каких высших, метафизических ценностей сражаются «черкесы» — этот вопрос в русской литературе даже не обсуждается. Ее прищипанной всемирной отзывчивости на это недостает.

Справедливости ради надо добавить, что таковы, по-видимому, все национальные литературы — при том, что никаких других литератур мир пока что не видел. Этому нежеланию (этой неспособности) одной культуры войти в метафизические глубины другой можно дать и жесткую оценку: даже восхищение оказывается бессознательной маской высокомерия — да, они храбрее нас, но мы-то сложнее! Хотя не исключено и более мягкое толкование: мы не хотим вглядываться в душу «благородных дикарей», чтобы не разочароваться, но счастья-де нет и между ними, их души так же сложны и запутанны, как наши.

В литературе последнего десятилетия, когда уже не требовалось имитировать «дружбу народов», пишущий эти строки не может припомнить произведения, где бы сколько-нибудь подробно изображались отношения русских и кавказцев, связанных друг с другом единым бытом, кроме своего романа «Исповедь еврея», вошедшего в дилогию «Тень отца». «Народный» взгляд пятидесятых на ссыльных ингушей, чеченцев и балкарцев представлен там как полностью лишенный даже проблеска романтизации — их оценивают как обычных соседей, по самым приземленным критериям: насколько они удобны и безопасны для окружающих (от того и другого местное население далеко не в восторге: это очень сильные, почти непобедимые конкуренты в очередях и на танцах). А в чем-то подражать им, учиться их языку, видеть в них носителей особой культуры или жертв несправедливости никому даже в голову не приходит: они воспринимаются скорее как победители — горцев судят не свыше повседневности.

Зато уже тогда начиналась романтизация Америки с ее джазом, Бродвеем, престижными именами: Боб, Пит, Сэм... В 1980-е возникло целое направление в молодежном сленге, использующее английские корни с русскими суффиксами: «герла» (девушка), «аскать» (просить) и тому подобное. Не решаюсь сказать, чего в этом было больше — щегольства казака Лукашки или рисовки лакея Ванюши. Но романтического отношения

к Кавказу я и сегодня не нахожу ни в быту, ни в литературе.

Про «Исповедь еврея» («Тень отца») я уже сказал: там представлен взгляд ребенка, над которым не слишком возвышаются и воззрения взрослых.

В последние годы довольно громко прозвучали два романа о Кавказской войне 1990-х — в особенности «Асан» Владимира Маканина, хотя не остался незамеченным и «Чеченский блюз» Александра Проханова. Оба романа открыто идеологичны, то есть герои — более аллегории и сюжетные функции, чем живые люди, но горское *во имя* все равно не затронуто ни там, ни там.

Это и неудивительно, если в первом романе представлено мировосприятие кладовщика (Жилина!), хотя и невероятно интеллектуализированного для своей прозаической профессии — у него хватает социально-философской квалификации вполне отчетливо сформулировать либеральную и во многом, вероятно, справедливую идею: торговля между противниками смягчает накал войны, порождая, впрочем, и новые конфликты, но уже не такие яростные, как конфликты метафизические, конфликты воодушевляющих грез. Однако в чем заключаются эти грезы, кладовщика не интересует, и в этом пункте автор предпочитает следовать правде жизни, а не вкладывать в голову героя собственные мысли. Горцы же изображены как партнеры по бизнесу, и не более того, а какое в бизнесе может быть «во имя»!

В «Чеченском блюзе» тоже представлено лишь мировосприятие «простого человека», солдата: «Я их ненавижу за то, что они убивают моих друзей», — и не более того. Да не просто убивают, а предельно коварно: зовут в гости, клянутся в любви к России и лично к гостям, а потом, когда гости расслабляются, устраивают кошмарную резню. И женщины в этом участвуют, и местный интеллигент — все, не задумываясь, попирают священный долг гостеприимства.

Я не собираюсь обсуждать, бывало такое или нет, а тем более — типично это или нетипично, отмечу лишь то, что и здесь автор даже не пытается — хотя бы карикатурно — изобразить, во имя какой высшей правды чеченцы творят эти ужасы, одновременно ставя на карту и собственную жизнь: ведь они не могут не догадываться, что российскому командованию просто не позволят оставить такой разгром, такие потери безнаказанными.

Столь страстный идеолог, как Проханов, тоже не может не понимать, что без хотя бы смутного ощущения какой-то своей высшей правоты ни человек, ни тем более народ жить не могут, но...

Похоже, его интересует лишь одна сторона конфликта — своя.

Итак, вопрос о метафизической стороне кавказского менталитета в нашей литературе, похоже, еще не ставился.

А между тем в любом диалоге каждая сторона готова принять лишь те мнения и чувства партнера, которые не разрушают ее собственную экзистенциальную защиту — ее ощущение своей красоты и значительности. И поскольку важнейшие элементы кавказского

мироощущения в нашей литературе не представлены, это означает, что к диалогу мы не готовы. Я почти уверен, что и образ русского человека в кавказских зеркалах в каких-то важных пунктах был бы отвергнут оригиналом, что означает, что к диалогу не готова и кавказская сторона.

Что же говорить об обыденном сознании, если диалога нет даже в литературе? Поэтому с нее-то и стоит начать. Для начала я бы предложил совместную подготовку и издание российско-северокавказского сборника, где писатели разных народов постарались бы высказать то лучшее, что они видят в другой стороне, которая что-то приняла бы, а что-то уточнила. То есть

оригинал поправлял бы свой, уже и без того идеализированный портрет. Возможно, мы обнаружили бы, что даже наша идеализация оказалась бы неприемлемой для наших партнеров по диалогу, зато мы получили бы шанс узнать, какими они хотят выглядеть в наших глазах.

Быть может, это бы нас сблизило. Но, может быть, и отдалило бы. Сближение возможно лишь при наличии общей экзистенциальной защиты, которую в принципе могли бы создать имперские государственные начала, способные преодолеть этнический эгоизм во имя более высокого и многосложного целого.